
он был
слишком большим
чтобы его заметили
ТЫ В НОРМЕ
в этом
и проблема
психолог, физик
Ю. Белк
18+

Юрий Белк
Ты в норме

https://litres.ru/74755047
SelfPub; 2026

Аннотация

Человек умер во вторник. Узнали в субботу.

За четыре дня мимо его двери прошли сотни хороших людей. И никто не сделал ничего плохого.

Не лезть. Тебя это не касается. Держись. У него всё в норме. Каждая из этих фраз по отдельности безупречна. Но из них складывается общество, в котором можно умереть в собственной квартире, и этого никто не заметит. Преступников в этой истории почти нет. А человек мёртв.

Это не приговор, а карта местности.

Кто мы? И что с нами стало?

Содержание

Пролог 4
Часть I. Как мы устроены 8
Глава 1. Стайные животные 8
Глава 2. Физика больших групп 14
Глава 3. Игра 21
Часть II. Ближний круг 26
Глава 4. Школа и знание 26
Глава 5. Семья 31
Глава 6. Дружба 36
Глава 7. Родительство под прицелом 41
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Юрий Белк
Ты в норме

Пролог

В квартире на пятом этаже лежит человек. Он умер во вторник днём.

Узнают об этом в субботу. Четыре дня. За эти четыре дня он станет самым незаметным человеком в доме, где прожил одиннадцать лет: почтальон вложит в ящик корреспонденцию, соседи по лестничной клетке дважды пройдут мимо его двери, из квартиры за стеной будет слышен телевизор. В четверг женщина из тридцать седьмой задержится у его двери на секунду — ей покажется странным, что счётчик света не горит, — но у неё будут сумки и гости, и она унесёт это ощущение с собой, как уносят забытую мысль, до которой некогда дотянуться. В пятницу его мобильный телефон позвонит сам себе в пустой комнате — напоминание о приёме у врача, назначенном на следующую неделю. Напоминание сработает исправно. Врач будет ждать.

Через четыре дня соседка поднимется к управдому — пожалуется, что пахнет из тридцать девятой, — и дверь откроют. Всё будет в порядке. То есть — всё уже будет кончено, но всё будет в порядке: порядок в том, что никто ничего не

мог знать, никто ничего не был должен, никто ничего плохого не сделал. Официально так и запишут: смерть естественная, признаков постороннего вмешательства нет. Постороннего вмешательства действительно не было. Было только четыреста безупречных поступков людей, которые мимо проходили, — и каждый из них был так же чист, как чиста любая дверь, мимо которой проходят.

А теперь то, ради чего эта книга.

Никто из проходивших мимо двери не убийца. Никто из них и не думал себя убийцей — они были заняты: сумками, гостями, опозданием, усталостью, телефоном. Они были хорошими людьми. В том-то и дело. В том-то и вся книга.

Потому что страшное в нашем времени уже не выглядит страшным. Оно выглядит нормально. Оно ходит на работу, платит налоги, моет машину по субботам и на вопрос «как дела» отвечает: «Всё в порядке». Оно — не где-то. Оно распределено. Оно размазано тонким слоем по миллиардам вполне приличных дней, и в каждом дне его ровно столько, сколько человек может не заметить, не переставая считать себя порядочным.

Эта книга — не о преступниках. Преступников в ней почти нет. Она о втором этаже зла: о том, что случается, когда зла не делают. Когда не замечают. Когда не проверяют. Когда не звонят. Когда проходят мимо — вежливо, по уважительной причине, с чистыми руками. Когда оскорбляют не задумываясь и не помогают не со зла. И — что важнее всего —

когда все вокруг делают то же самое, отчего каждый отдельный человек ощущает себя человеком, а не участником.

Она начнётся во дворе, где живёт стая, и закончится в квартире, где за четыре дня никто не постучал. Между ними — вся наша жизнь: работа без края, витрина вместо лица, знания без глубины, машина, которая отвечает за нас, культура, которая не дотягивается до конца, одиночество в самом связном мире истории, старость, которую мы спрятали так тщательно, что спрятали от самих себя. В каждой главе будет человек, который поступит безупречно — по всем правилам, по совести, по уважительной причине. И каждый раз цена этого поступка будет лежать на ком-то другом. Часто — на том, кто не скажет об этом никому. Иногда — на том, кто уже не может сказать.

Здесь нет виноватых — и в этом главная трудность. Спросите любого проходившего мимо той двери: он не сделал ничего. И будет прав. Все будут правы — и в сумме всех правд выйдет то, что вышло. Общество не хорошее и не плохое. Оно — мы. Судить будет некого, и не потому, что все виноваты, а потому, что никто не выбирал целого: каждый выбирал по одному удобству, а удобства, как выяснится, совместимы друг с другом — и не совместимы с человеком, который в них живёт.

И последнее, прежде чем вы войдёте в первую главу.

У этой книги будет фраза, которая пройдёт через все девятнадцать глав, — от утреннего двора до квартиры на пятом

этаже, от живых уст до машинных, и в конце — до тишины, в которой её произносить уже некому. Вы уже слышали её дважды на этих трёх страницах. Вы будете слышать её потом всю дорогу — и чем дальше, тем яснее станет, что она не всегда означает то, что говорит.

«Всё в порядке».

Так говорят, когда всё в порядке.

И так говорят, когда проходят мимо.

Эта книга — о том, как мы научились не отличать одно от другого.

Часть I. Как мы устроены

Глава 1. Стайные животные

Ты выходишь из подъезда и на секунду замираешь на крыльце. Вчера вечером у магазина кричал пьяный — громко, без стеснения, — и двор не повернул головы: раздавали, кивали, кто-то одобрительно бросил: «Умеет человек отдыхать». Теперь попробуй вообразить обратное. Ты выносишь на ту же табуретку самовар, ставишь рядом гармошку — или просто читаешь стихи. Исход невозможно даже вообразить. Этого здесь не бывает. Так это устроено — и устроено давно.

Как мы сюда попали

Сто лет назад ты жил бы в деревне, где все знали всех. Немного странный сосед не был проблемой: самовар и гармошка были просто частью жизни, и никто не рассматривал их как событие. Потом началось переселение в города — за сто лет сделано то, на что раньше уходили тысячи лет, — и самовар остался в кладовке.

Есть оценка, что мозг человека рассчитан на общение примерно со ста пятидесятью людьми. В городе вокруг тебя миллионы, и узнать их по-настоящему невозможно: ты сортируешь людей по одежде, квартире, подпискам, музыке в наушниках. Вместо узнавания — раскладка по категориям.

И чем больше город, тем острее в нём одиночество и тревожность: больше людей — меньше людей.

Почему быть не таким, как все, страшно

Ты делаешь то, что делает твоя группа, даже когда группа ошибается. Раньше группой были соседи — теперь вся страна лежит у тебя в кармане. Любое отклонение заметно: старое пальто деда притянет взгляд, ультрамодная вещь с выставки — тоже. Нейтральной одежды не существует.

Выделиться в хорошем смысле — написать стихи, спеть, одеться странно — значит дать повод решить, что с тобой что-то не так. Выделиться в плохом — напиться и орать у магазина — значит оказаться просто отдыхающим. У двора своя шкала суда, и строже он судит именно хорошее: его проще списать на психическое расстройство. Плохое он прощает — «мужская природа», традиции.

Стандарт пришивается легко: раньше его шил двор, теперь — экран, который смотрят миллионы. Ты не помнишь, когда принял это правило, — оно просто «так теперь принято».

Тебе наверняка говорили, что раньше снимали хорошее кино, а теперь не умеют. Проблема не в режиссёрах, сценаристах и артистах — хотя и в них тоже. Изменилось время, изменились мы сами: то, что раньше называли «жили и танцевали», теперь, кроме как в кино, выглядит нелепо и странно. Публичная радость выпала из жизни — и стала жанром.

Милгрэм и цена порядка

Цивилизация действительно удержала зверя — в этом её честная заслуга, и было бы подлостью вычёркивать её из книги. Но вместе с уздой она научила людей одному движению, которое осталось с нами до сих пор: передавать ответственность.

Существует опыт, который повторяли много раз и в разных странах. Человека сажают перед пультом и говорят: вы проверяете память, за каждую ошибку «ученика» в соседней комнате надо давать разряд — сильнее с каждой ошибкой. Ученик кричит, стучит в стену, просит прекратить. Человек за пультом — обычный, вежливый, вчерашний сосед по лестнице — мнётся, спрашивает, кто будет отвечать. И когда человек в белом халате спокойно говорит: «Эксперимент требует, чтобы вы продолжали», — он нажимает. Далеко. До конца шкалы доходят около двух третей участников — не садистов, а людей, которых неделю до этого набирали по обычной газете. Они не хотели никого мучить. Они просто сдали ответственность халату: раз там сидит специалист, значит, отвечать будет он.

Стая раньше давала правила сама. Деревня смотрела на тебя, и ты знал, перед кем отвечаешь, — перед живыми людьми, которые тебя знали. Теперь правила выдают институты: закон, должность, инструкция, печать. Это и есть цена цивилизации, если называть её честно: человек стал свободнее, чем когда-либо, и послушнее, чем когда-либо. Одно из этого не отменяет другого — это одно и то же.

Узда, что удержала зверя, приучила к мысли: чужая власть может велеть почти что угодно, а ты лишь исполнитель. Голос «не суйся» — из того же ряда. Это не приказ в лоб; это его тихая, домашняя версия, вживлённая так глубоко, что она звучит изнутри и кажется твоим собственным мнением.

За то же время изменилось и то, что ты видишь с экрана. Смешную драку пару раз кулаком в старом фильме называли боевиком; сейчас фильмы с лужей крови идут в час пик, а про маньяков снимают большие студии с известными актёрами. Жестокость порождает жестокость: каждое её порождение бродит по планете, вселяясь в одного и передаваясь друг другу. Показывать её стало нормально — потому что так теперь принято.

Голос

Вспомни момент из своей жизни, когда ты хотел отличиться — спеть, сказать что-то необычное, — и услышал в голове голос: «Не суйся». Этот голос был не твоим. Он коллективный, унаследованный.

Этот голос — ключ к книге. Ты боишься не толпы — ты боишься её взгляда. Хотя в мегаполисе толпы нет, ты продолжаешь вести себя так, будто она есть: стараешься выглядеть хорошо перед воображаемыми односельчанами, которых больше не существует.

Достижение: ты уцелел. Стая работает — она кормила, защищала и объясняла, кто ты, и за сто лет в городах она по-прежнему делает это. Пока ты как все, тебя никто не трога-

ет, никто не называет странным, тебе не нужно ничего объяснять. Принадлежность — то, за что люди всегда платили всем остальным.

Цена: право быть собой. Ты отдал стае право решать, что тебе можно показывать, — и голос «не суйся» теперь звучит изнутри, как твоё собственное мнение. Выделиться — значит идти против всех правил. А в тебе тихо гаснет эмпатия — способность сочувствовать другому: она не нужна стае, которая смотрит только на то, как ты держишься в общем строю. Если она исчезнет совсем, мы станем хуже зверей: расчеловечивание начинается с удаления эмпатии. Мы не сломаны каждый по отдельности — сломан способ, каким мы складываемся в общество. Общество, которое лечит одно и разрешает другое, перепутало, что такое болезнь.

Рефрен: дворник. «Всё в порядке», — говорит дворник, не зная ни твоего имени, ни того, что с тобой стряслось. Это чистое утешение: ты не сломан, всё пройдёт, утро настанет. По звуку оно честное — и именно поэтому безотказное. Утешение переводит случившееся из события в погоду: погода пройдёт, и делать с собой ничего не нужно. Ты остаёшься прежним — во дворе по-прежнему никто не поёт, и никто не выйдет со стихами к магазину. Двор метут — и в нём снова всё в порядке.

Безупречный поступок: быть как все. Изнутри он выглядит разумно и гуманно: ты не рискуешь, не мешаешь другим, не навязываешься, живёшь так, как живут. Стоит ноль уси-

лий в моменте: ничего не нужно придумывать, достаточно повторить за всеми — самовар остаётся в кладовке. Цена накопительная: каждый непроизнесённый стих, недопетая песня и невысказанная мысль копятся — и ложатся на тех, кто шёл рядом и ждал от тебя того, что ты так и не показал.

Тишина

Вечером двор пуст. Ты сидишь на лавке у второго подъезда — внутри дрожит что-то простое и настоящее, и хочется крикнуть это во двор, только чтобы прозвучало. Ты не кричишь. Мимо, шаркая метлой, идёт дворник: он доводит дорожку до конца, оглядывает тебя — смятого, тихого, никуда не спешащего, — и говорит негромко, как говорят, когда уже никого нет: «Ну-ну. Всё в порядке».

Глава 2. Физика больших групп

Пятница, без двадцати семь. Пешеходный переход у делового квартала. Загорелся зелёный — и поток сорвался: сотни людей пошли навстречу друг другу, плечо к плечу, шаг в шаг, и за весь свет не произошло ни одного столкновения. Стоит над этим постоять минуту — и становится не по себе. Не от толпы: от того, насколько она точна. Тысячи траекторий, ноль аварий, ноль слов. При этом каждый в этом потоке — целая вселенная: у кого-то любимая музыка, у кого-то незакрытый кредит, у кого-то обида на начальника, у кого-то вечер пятницы, на который он всё-таки собрался. Но поток всего этого не видит. Для потока каждый — скорость и направление. Всё остальное он не берёт.

Если бы посреди перехода вдруг остановился один человек — просто встал и стоял, — ничего страшного не случилось бы. Поток обтёк бы его, как река обтекает булыжник, и через три секунды тёк бы так же гладко, будто этого человека нет. Вот это «будто его нет» — и есть предмет этой главы.

В первой главе речь шла о том, что человек, приехав в город, потерял стаю — тех самых полторы сотни людей, которые его знали, смотрели, помнили. Отсюда вопрос: а что он нашёл взамен? Ответ неприятный, но честный: он нашёл массу. Массу, в которой его нет вовсе.

Группа и масса

Разница между группой и толпой не в количестве. Она в том, что число делает с тобой. В группе из пяти человек ты — пятая часть целого: тебя видно, тебя учитывают, твоё молчание на собрании замечают. В массе из пятидесяти тысяч ты — погрешность округления. Мозг собран для малых чисел: он умеет быть видимым для тридцати человек и совершенно не умеет быть невидимым для тридцати тысяч.

Отсюда парадокс, на котором стоит вся глава: чем больше вокруг людей, тем меньше на тебя смотрят. В деревне на тебя смотрят все — это тяжело, но это держит, как перила. В мегаполисе на тебя не смотрит никто — и это свобода ровно до момента, когда тебе нужно, чтобы хоть кто-то увидел. В очереди, в вагоне, в лифте тела стоят вплотную — связи ноль. Мы построили жизнь на максимальной плотности и минимальном контакте и назвали её свободой.

Малый мир

При этом мир связан плотнее, чем кажется. Есть известная штука будто через шесть рукопожатий можно дотянуться до любого человека на планете. Это не легенда — это измеряли, хотя замеры дают разные числа. Социальные сети сжали цепочку ещё короче — по разным замерам, до трёх-четырёх звеньев. Казалось бы, отличная новость. Но у неё есть оборотная сторона, которую мало кто замечает: короткие цепочки соединяют, а не объединяют. Ты связан с миллиардами — и не знаешь, кто живёт за стенкой. Дальняя связь теперь стоит дёшево: найти, написать, лайкнуть. Ближ-

няя стоит дорого: надо прийти, надо поговорить, надо вложиться годами. Ты выбираешь дешёвое — и ближних становится меньше. Малый мир — это не большая деревня. Это система, в которой ты имеешь доступ ко всем и никому не нужен лично.

Посчитай сам. У тебя двести знакомых — и это хороший, широкий круг. На планете восемь миллиардов. Мозг не может вообразить этот разрыв, поэтому он его упрощает: мир сжимается до ленты, а лента выглядит как мир. Ты не обязан уметь держать в голове миллиарды. Но когда тебе всю жизнь показывают сжатый мир, ты начинаешь жить так, будто настоящий мир выглядит так же — как окно с бесконечной прокруткой.

Обещание быть услышанным

Из этого сжатого мира выросло самое щедрое обещание века: каждый может быть услышанным. Технически — правда. Загрузи, опубликуй — доступ есть у всех. Но у обещания есть подвох, и он математический, а не заговорщицкий. В любой большой сети внимание распределяется не по-честному: крошечная доля людей собирает на себя огромную часть взгляда. Никто специально этого не устраивал — так просто растут сети: чем больше у человека подписчиков, тем легче приходят новые. Кто-то поднялся чуть раньше — и дальше его поднимает сама механика. В результате услышанными становятся единицы на миллионы, и механика, которая их поднимает, мало отличается от механики лотереи. Разни-

ца в том, что в лотерее ты знаешь, что шансов мало, а здесь ты держишь окно в ленту как долю в будущей известности — уже почти заработанной, надо просто продолжать. Обещание сбылось не в обещанной части: не «каждый будет услышан», а «у каждого есть шанс». Точкам не обещают справедливости. Точкам обещают лотерейный билет — и это честнее, чем звучит, но держаться за него тяжело.

Как масса двигается

Прежняя толпа собиралась на площади: чтобы люди возмутились, надо было, чтобы они сошлись в одном месте и увидели друг друга. Сеть убрала это условие. Теперь реакция наступает без присутствия: ты реагируешь не на событие, а на реакцию предыдущих. Кто-то выложил сторис про несправедливость — его перепостили — перепостили перепостивших — и за несколько часов цепочка разгоняется до масштаба, на который раньше уходили годы. Иногда так спасают человека или собирают деньги на операцию за одну ночь. Иногда так неделю топят того, кто оказался не виноват, а попал в неудачный кадр. Иногда так паникует целый город вокруг угрозы, которой не существует. Механика везде одна и та же: каждый участник честно передаёт то, что видит, и никто не проверяет исходник. Проверка не успевает — цепочка движется быстрее неё.

Твоё вчерашнее утро

Твоё вчерашнее утро выглядело так. Сорок минут ленты. За это время ты видел семь городов — два из них не нашёл

бы на карте. Четыре катастрофы, две войны, один кот. Кот был последним и единственным, о чём ты мог бы кому-то рассказать. Не потому, что остальное не важно, — просто не о ком и не зачем: ты не знаешь никого из всех этих людей. Вечером ты глянул счётчик: экранное время, касания за день. Цифры приличные, почти будничные — так глядят на счётчик воды. И вот что ты понял, честно проверяя себя: из всего этого дня ты не помнишь ничего, кроме цифры. Ни одного лица, ни одного разговора, ни одной мысли, которую вынес. Люди, которые писали про твои «профессиональные качества» в чате коллег, — ты им не ответил. Сосед во дворе сказал «здравствуйте» — ты сказал «здравствуйте», и это был единственный обмен, в котором участвовали двое живых.

Достижение: связь. Было бы нечестно записывать всё это в минус без остатка: восемь миллиардов человек, соединённых за доли секунды. Люди складываются на лечение чужого ребёнка за ночь — по пять рублей, по доллару, миллионами. О землетрясении на другом конце планеты ты узнаёшь раньше официальных сводок — от человека, который стоит в этом землетрясении. Ни одно поколение до нас не могло сделать ничего подобного. Эту главу нужно читать не как жалобу, а как счёт: справа — то, что мы получили, слева — то, что отдали, и обе колонки настоящие.

Цена: лицо. Ты отдал то, с чего глава началась. В большом потоке ты меньше, чем ты сам, — не потому, что ты плох,

а потому, что система тебя не различает. На переходе тебя не различает поток. В ленте тебя не различает алгоритм: он различает только то, как долго ты держишь палец на экране. В очереди тебя не различает время. И самое коварное в этом растворении — то, что оно не событие. Ты не просыпаешься с решением «с сегодняшнего дня я точка». Точкой становятся, как становятся мокрым: просто идёшь по потоку и не выходишь, и каждая отдельная минута в нём настолько мала, что её не жалко. А потом минут много, и жалко уже всё.

Рефрен: голос светофора. Над переходом каждые пятнадцать секунд звучит динамик — устройство для слабослышащих, синтезированный голос, ровный, без интонации. Он произносит: всё в порядке, идти можно. Он говорит тысячам идущих, с которыми никто не разговаривает, — и первая фраза этого разговора адресована никому: толпе без общего имени. Фраза не лжёт: светофор действительно работает. Но она и не проверяет: голос подписывает порядок под тем, что происходит, — как подпись под чужой ошибкой. Если цикл сбит, если поток сошёлся в затор, он всё равно скажет то же самое: всё в порядке, идите. Подпись стоит — спрашивать с неё некому.

Безупречный поступок: поставить лайк. Изнутри он выглядит как участие: чужое горе, чужая радость, чужой пост про катастрофу в далёкой стране — палец падает, сердце горит, поток принял. Стоит ноль усилий в моменте: один удар пальца, никакой ответственности, никакого ответа на вопрос

«а что дальше». Присутствовать и не быть — удобнее, чем присутствовать и быть, поэтому лайк выбирают миллиарды раз в день. Цена накопительная: каждый лайк честен в моменте — и невидим в сумме, потому что в сумме лайков человек, о котором речь, всё так же никто не знает. Цена ложится на того, кому был нужен живой отклик, — и получил вместо него счётчик.

Тишина

К вечеру пятницы переход опустел. Двадцать три ноль ноль: зелёный горел всё дольше и дольше — для всё меньшего числа идущих. По центру прошла последняя женщина за вечер. Она одна на всю ширину перехода — и всё равно шла влево от центра, как будто там кто-то стоит и она его обходит. Не обернулась. Там никого не было. Уже не было. Только из динамика над светофором выходил ровный синтезированный голос — обращался к пустой площадке, к женщине, которая не слышала, к никому: «Всё в порядке».

Глава 3. Игра

Вечером во дворе мальчишки выбирали, во что играть. Никто не писал правил — их не было ни на бумаге, ни в чате. Возник спор: «Он не был убит — у него же не было жетона!» — крик, ссора, у одного слёзы. Никто не приходил разбираться. Секунд тридцать всё висело — и потом кто-то старший произнёс: «Пересчёт. Но в следующий раз, если снова будешь спорить из-за каждого, не беру в игру». И всё — договор восстановлен, не подписанный никем, работающий лучше любого свода. В этой сцене — вся книга в миниатюре: конфликт, тишина, переговоры, санкция, новый договор. Институт, который построили дети, не приглашая архитекторов.

Тренажёр

Детские игры и сказки формируют человека — и заодно формируют общество. По весу они значат для тебя больше, чем любой институт, который ты встретишь потом: тип психики складывается до совершеннолетия, а дальше идёт корректировка. Ты всю жизнь живёшь с душой подростка — меняются только масштабы: вместо дворовых игр — бизнес, вместо жетонов — зарплаты, вместо «не договаривались» — регламенты. Ты продолжаешь играть свою жизнь, хотя признать этого не хочешь: пытаешься выиграть, понравиться и не оказаться выбитым до конца партии.

Игра — не отдых и не «двигательная активность». Это единственное место, где ребёнок всерьёз занимался взрослым делом: устанавливал нормы, нарушал их, судил, мирился, формировал коалиции, переносил поражение, исключал и принимал. Двор — тренировочный полигон всех взрослых институтов: здесь были своя экономика (жетоны, карточки, шишки), своё право («так не договаривались!»), своё судейство и своя дипломатия. И главное — всё это существовало без единого взрослого: правила держались только на договорённости самих игроков. Суверенная договорённость — норма, которую участники создали сами и которой подчиняются, потому что сами создали. Это навык. Навык тренируют практикой.

Животные играют не потому, что им весело: у детёнышей хищников игра в борьбу — способ отработать приём без риска. Человеческий вид довёл это до предела: через игру ребёнок тренирует не приёмы, а социальные механизмы — как договориться, как сказать «нет», как проиграть и не выйти из игры, как справедливо обидеться и как справедливо простить. Всё, чем потом держится цивилизация, — договоры, компромиссы, границы — имеет свой тренажёр в детской игре. Игра не подготовка к жизни. Игра и есть жизнь в минимальном масштабе, где ошибки обратимы.

Что принесли взрослые

С заботой пришла организация. Игра ушла из двора в кружок, секцию и расписание — и там её построили взрослые.

Взрослый назначает правила, следит за безопасностью, судит споры, назначает тренера судьёй, а родителя — адвокатом. Ребёнку больше не нужно договариваться — за него уже договорились. Исчез не досуг: исчезла практика суверенной договорённости — ситуация, в которой ребёнок сам, без старших, устанавливает норму, нарушает её, отвечает и исправляет. Кружок безопаснее двора — и стерильнее: в нём есть правила, но нет права их писать.

Результат ты встречаешь через двадцать лет: взрослые, которые не умеют договариваться без арбитра. Спор в интернете заканчивается не договором, а призывом модератора; спор в семье — апелляцией к психологу; спор в офисе — жалобой в отдел кадров. Каждый просит взрослого. Взрослых нет — есть только институции. Двор, на котором можно было научиться договариваться, закрыли — а навык, который там тренировали, не заменяют никакие кружки, потому что его нельзя выучить. Его можно только практиковать.

Ты вырос среди людей, которые не учились договариваться сами, — и построил с ними мир, в котором любое разногласие передаётся третьей стороне: платформе, институции, алгоритму. Ты безопасен, как никогда, — и беспомощен в договорённостях, как никогда. Оборотная сторона этой безопасности — забота, дошедшая до самой себя: шлемы, расписания до позднего вечера, страховка на каждой прогулке. Как это беспокойство достраивается во взрослой жизни — седьмая глава; здесь его только корень.

Достижение: детство стало безопаснее и организованнее, чем когда-либо у кого-либо. Никогда и нигде дети не были так бережно устроены: травмы, смертность, голод, эксплуатация детского труда — всё отступило на исторически невиданное расстояние. Ребёнок больше не работает, не умирает от кори, не гуляет до темноты без присмотра. Взрослые вложили в детство больше заботы, чем любое поколение перед ними. Это достижение настоящее — и без него глава лгала бы.

Цена: суверенная договорённость. Вместе с безопасностью ты отдал детям право самим писать правила — а с ним и тренировку, на которой держатся все взрослые договоры. Навык, который вырастал во дворе за одно лето споров и примирений, не передаётся из расписания в расписание: его нельзя выучить, его можно только практиковать. Цена лежит не на ребёнке сегодня — она ждёт его через двадцать лет, когда потребуется договориться самому.

Рефрен: расписание. «Всё в порядке», — говорит расписание, и это не утешение, а формула организации: за порядок уже назначен отвечающий. У каждой игры — свой тренер, у каждого часа — свой инструктор, у каждой травмы — своя страховка и свой виноватый, которого легко найти в графе. Порядок не наступает — он распределён: между секцией, репетитором и утром во вторник. Никто не спросил детей, в порядке ли им, — вопрос и не мог быть задан: за порядок уже назначен отвечающий, и пока он отвечает, всё

в порядке по определению. Дети идут по расписанию, как по перилам, — и перила действительно не падают. Спрашивается только, чему учит перила.

Безупречный поступок: отдать ребёнка в кружок. Изнутри он выглядит разумно и гуманно — и является им: там безопасно, там полезно, там научат плавать, играть на скрипке, защищаться. Ребёнок получит навык — настоящий, отработанный. Стоит ноль усилий в моменте: одна оплата в месяц, одно расписание, одна лёгкость — иди, тебя там ждут. Цена накопительная и лежит на самом ребёнке: единственный навык, которого не будет ни в одном кружке, — тот, что тренировался на пустом дворе, где никто не приходил наводить порядок. Он вытащит себя оттуда взрослым человеком, которому нужен арбитр, — а арбитр нужен каждому, кто встретится с ним в споре.

Тишина

К вечеру двор опустел окончательно. Детская площадка — безопасное покрытие, ограждение, аккуратная горка с мягкими краями — стояла пустая: дети были в секциях, у репетиторов, в экранах. Никто не ссорился, потому что никто не играл. Никто не договаривался, потому что не с кем. Всё безопасно. Всё тихо. Площадка спроектирована по всем нормам и с одной функцией — формирование. Формирование не началось: все согласованы, все распределены, всё в порядке — за порядок уже назначен отвечающий.

Часть II. Ближний круг

Глава 4. Школа и знание

Урок биологии в восьмом классе. Учительница задала вопрос — не риторический, настоящий: «А почему вообще человек стал человеком?» Тишина. Но это не тишина незнания — это тишина ожидания. Двадцать восемь рук лежали на столах, двадцать восемь телефонов лежали рядом, экранами вниз. Один мальчик медленно двигал телефон ладонью — не к себе, от себя: жест человека, который решает не доставать. Учительница знала, что через семь секунд кто-нибудь незаметно откроет поисковую строку и выдаст ответ — гладкий, правильный, чужой. Она читала дальше, быстрее. Соревнование, которое она проиграла, было не с ленью — с поисковой строкой. И самое важное: никто в классе не заметил, что состоялся конкурс. Конкурсы, в которых не объявляют победителя, — самые безоговорочные.

Монополия и её конец

Школа в её массовом виде — детище индустрии. Она возникла, когда экономике понадобились миллионы людей, умеющих читать, считать, приходить вовремя и выполнять инструкцию без надзора. Конвейер нуждался в конвейере подготовки — и получил его: классы по тридцать, единая

программа, звонок как метроном, оценка как допуск к следующей операции. Это не обвинение — это заслуга: школа XX века сделала то, что от неё ждали, и сделала лучше, чем кто-либо мог надеяться. Она дала грамотность сотням миллионов, подняла целые страны, выучила людей, построивших всё, чем ты пользуешься. Но конвейер проектировали под задачу «передать навык» — а не под задачу «вырастить того, кто спрашивает». Вопрос в этой системе был шумом. Теперь, когда ответ стал бесплатным, шум оказался единственным, что осталось ценного, — а производить его школа не проектировалась.

Двести лет школа держала монополию на знание — и эта монополия была её силой и её оправданием. Приходить надо было к учителю: к нему, в его кабинет, в его часы, по его программе. Поисковая строка разрушила монополию за пятнадцать лет, тихо, без приказа и без реформы. Любой ответ — в кармане, за секунду, бесплатно.

И здесь парадокс, на котором держится глава: когда знание стало бесконечно доступным, дефицитом стало не знание — дефицитом стало желание его искать. Вопрос требует усилия: сформулировать, удержать, вытерпеть неопределённость, прожить минуту, в которой ты не знаешь. Ответ ничего не стоит — и потому вопрос, ради которого ответ добывался, перестал рождаться. Зачем носить вопрос с собой, если ответ всегда ближе, чем собственное любопытство?

Механика угасания

Механика угасания — не в отказе от знания, а в смене его формы. Ты знаешь всё шире и понимаешь всё в другой плоскости: можешь назвать десяток стран, событий, терминов, мнений — и не можешь собрать из них связного, потому что связность живёт только на глубине, а глубина живёт только во времени. Поисковая строка отучает делать то единственное, из чего растёт понимание: задержаться. Прочитать — и не согласиться сразу. Спросить — и не получить ответ мгновенно. Знание стало потреблением: проглотил — перешёл дальше. А понимание — не потребление, оно ближе к ремеслу: в нём есть брак, переделка, скука и тот момент, когда ничего не получается, — момент, который ответ в кармане позволяет никогда не переживать. Эта глава не про «дети отупели» — дети такие же, как были. Изменился маршрут: раньше путь к ответу шёл через непонимание, теперь непонимание можно миновать.

Самое дорогое здесь — то, что исчезает без события. Никто не отменил мышление; просто у каждого отдельного случая мышления появилась дешёвая замена — и замена выбирается каждый раз отдельно, по мелочи, честно: «всего один вопрос». Спросить вместо вспомнить. Спросить вместо посчитать. Спросить вместо подумать. Каждая замена ничтожна — их сумма необратима, потому что навык, который не тренируют, не сохраняется в ожидании: он не хранится. Мозг не архив, а мышца. Ты, который двадцать лет гладил рубашки, умеешь гладить; который двадцать лет отдавал в

химчистку, — не умеешь, и не потому, что стал хуже, а потому, что умение не вещь, а действие. В двенадцатой главе эта тема дойдёт до делегирования мышления целиком; здесь — только его начало, первая уступка. Школа — место, где эта уступка происходит раньше всего и без свидетелей.

Достижение: всё знание — в кармане. Это не фигура речи, это измеренный факт эпохи: любой образованный человек XVIII века — учёный-энциклопедист — имел доступ к меньшей доле человеческого знания, чем сегодня школьник. Доступ — уровень, которого не было никогда.

Цена: вопрос вместо раздумья. Загуглить вместо того, чтобы подумать дольше. Зачем тратить десять минут, если есть десять секунд? Так это выглядит в моменте. И так же это выглядит двадцать лет спустя — только там уже нечего загуглить: вопрос, который не научился рождаться, не формулируется. Если механика не изменится, вопросы могут исчезнуть за два-три поколения — так же легко, как появились знания, которыми они держались.

Рефрен: «тема пройдена». Она говорит это ровно, как закрывает журнал учёта. За словом — расписание: тема пройдена, значит, вопрос снят, значит, отвечать на него больше не нужно — ни ей, ни детям. Класс послушно двигается дальше, и вместе с ним двигается всеобщее «всё в порядке»: учебная программа закрыта, контрольная написана, у предмета есть оценки. Что стало с вопросом, с которого начинался урок, — нигде не записано. В журнале его нет.

Безупречный поступок: загуглить вместо подумать. Изнутри он выглядит разумно и даже ответственно: зачем гадать и ошибаться, если есть проверенный ответ; зачем тратить время класса, если можно не тратить. Стоит ноль усилий в моменте: одна строка, три секунды, готово. Цена накопительная и лежит на том, кто делает, — и на тех, кто рядом: вопрос, который не родился сегодня, не родится и завтра, а навык, который не тренируют, не хранится. Каждый раз — «всего один вопрос». В сумме — человек, у которого есть доступ ко всем ответам и ни одного собственного вопроса.

Тишина

Класс опустел после звонка. На доске осталась недописанная мысль учительницы: схема — «человек стал человеком, потому что…» — и обрыв. Тридцать столов, на каждом — след от телефона: чуть потёртое место, куда он кладётся каждый день. Тридцать следов — ровные, одинаковые. В журнале на последней странице выведено: «Тема пройдена». Всё в порядке.

Глава 5. Семья

Вечер воскресенья. В квартире тепло, чисто и много света. На кухне сидела семья из четырёх человек: он, она, двое детей. В комнате для фона звучал телевизор. Каждый был в своём телефоне: он — в ленте, она — в переписке с подругой, старший — в игре, младший — в мультиках. Они не ссорились. Они не разговаривали. За вечер они обменялись, может быть, двадцатью фразами — и все двадцать были о предметах: где зарядка, что на ужин, кто выйдет завтра в школу. Это не неблагополучная семья — это обычная семья, возможно, образцовая: никто не пьёт, никто не орёт, дети накормлены, счёт оплачен. Близость здесь не отсутствует — она присутствует как фон: тихое совместное присутствие, в котором всем хорошо и никто не нуждается друг в друге прямо сейчас. Семья переехала из центра жизни на её задний план — и заняла там место честно и прочно, как мебель.

Сделка

Брак в его классическом виде был сделкой, и его деловые качества были его прочностью. Он соединял хозяйство с хозяйством, труд с трудом, род с родом; он был экономически необходим, социально обязателен и не обсуждалось иное. Требования к нему были скромны, как требования к печи: грел, не рушится. В такой сделке было мало ожиданий — и потому мало разочарований. Счёта любви к браку не

выставляли: любовь была бонусом, а не предметом договора. Брак держался на том, на чём держится любой договор, — на невозможности и бессмысленности его разорвать.

Проект

Прошедший век сделал с браком то же, что со всем остальным: превратил его из необходимости в выбор. Люди перестали жениться потому, что нельзя было иначе, — и начали жениться потому, что хочется. Это гигантское достижение, и глава фиксирует его без иронии: впервые в истории союз двух людей заключался ради самих людей, а не ради выживания. Но у выбора есть конструктивная особенность, унаследованная от эпохи: современный брак — не сделка, а проект самореализации. Проект — слово не случайное: у проекта есть цель («вместе расти», «поддерживать друг друга», «разделять ценности»), KPI (счастливые фото, совместный отдых, общие интересы) и — главное — критерий провала. Сделку нельзя провалить, её можно только исполнить или расторгнуть. Проект можно провалить — и провал проекта означает, что провалился ты: не «не сложилось», а «я не справился». Отсюда новая нагрузка на союз: двое держат теперь не дом, а смыслы жизни друг друга — и несут его, как несут крышу, вдвоём и всю жизнь. Ожидания выросли на порядок; прочность, рассчитанная под старый вес, держит его плохо.

Расхождение

Следствие этой перестройки — демография развода: его

стало больше не потому, что люди стали хуже, а потому, что стало возможно. И — важнее — развод изменил природу: он перестал быть событием (скандал, раздел, точка) и стал процессом. Он начинается задолго до заявления — в те месяцы и годы, когда двое уже живут отдельно, сохраняя общий адрес: отдельные графики, отдельные экраны, отдельные миры, аккуратно сложенные под одной крышей. Развод сегодня — это не разрыв, а медленное расхождение, оформленное потом. Дети при этом живут внутри процесса, а не до и после него — и это их состояние новое для истории: не «у родителей плохо», а «у родителей неопределённо», иногда годами. Здесь никто не судит: ни уходящих, ни остающихся, ни тех, кто растянул. Виноватых нет — есть конструкция, которая держит меньше веса, чем несёт.

Отец на расстоянии

Развод имеет асимметрию, о которой редко говорят всерьёз: дети почти всегда остаются с матерью — не потому, что суд так решил в каждом случае, а потому, что так решается в большинстве. Если это случилось с тобой — ты знаешь механику. Отец переезжает. Сначала видишься каждую неделю; потом — через выходные; потом — когда получится; потом — по видеосвязи. Отцовство не заканчивается — оно дистанцируется. И дистанция работает как сцепление с дорогой: пока не оторвался — рулишь; оторвался — крутишь руль в пустоту. Отец на расстоянии не хуже отца рядом — он хуже звучит: его участие не видно детям день за днём, его

ошибки видны лучше (он приходит не вовремя, не к сроку, не туда), его присутствие требует усилия, которого не требует присутствие естественное.

Достижение: никто и никогда не имел права на такой выбор. Право на брак по любви, право на развод без катастрофы, право на жизнь после союза — уровень свободы в личной жизни, которого не знал ни один человек до нас.

Цена: выросшие ожидания и хрупкость союза. Двое теперь держат не хозяйство, а смыслы — и конструкция, рассчитанная на вес сделки, под весом смыслов прогибается. Брак стал одновременно важнее (теперь он должен давать всё) и легче (теперь его можно расторгнуть) — и в этой паре «важнее и легче» живёт вся статистика разводов, вся тревога семейных терапевтов и вся тишина вечерних кухонь, где все дома и каждый в своём экране. Близость стала фоном не потому, что её отменили, — потому что она не выдержала конкуренции с ожиданиями, которые мы на неё возложили, и с экранами, которыми мы её заменили.

Рефрен: «у нас всё в порядке». Он звучит в родительских чатах и за семейным столом как отчёт о благополучии: дети накормлены, счёт оплачен, никто не болеет. Это не ложь — это редактура реальности: из семейного дня выбрано то, о котором можно отчитаться, и вычеркнуто то, о котором отчитаться нельзя. Близость в отчёт не входит — её некуда вписать.

Безупречный поступок: уйти. Изнутри он выглядит ра-

зумно и гуманно — и часто является им: жизнь одна, счастье не отменишь, детям хуже от крика, чем от тишины. Стоит ноль усилий в моменте: заявление подписано за минуту, вещи собраны за вечер, решение созрело задолго до него — самим расхождением. Цена накопительная и лежит не на том, кто ушёл, и не на том, кто остался, — она ложится на детей, которые годами живут внутри процесса: не «у родителей плохо», а «у родителей неопределённо». Каждое отдельное «я имею право» — правда. Их сумма — детство, проведённое в ожидании, когда неопределённость наконец станет событием и его можно будет пережить.

Тишина

Полночь. Телевизор выключен, телефоны на зарядке — в ряд, четыре штуки, как посуда. Все спят. Квартира в идеальном порядке: вымыто, убрано, закрыто. Близость спит где-то между этими четырьмя экранами — и никто не заметил, когда она легла. Свет погашен. Из соседней комнаты доносится ровное дыхание — четверо, в такт друг другу, будто у них общий сон. Дети накормлены, счёт оплачен, никто не болеет. У нас всё в порядке.

Глава 6. Дружба

Три часа ночи. Ты не спишь — не из-за трагедии, из-за того, что страшнее трагедии и тише её: из-за состояния, у которого нет названия и нет причины. Ты открыл телефон. Триста двадцать контактов. Листаешь: А — коллега, В — однокурсник, Г — сосед по даче, Д — человек, с которым ты дважды обедал и которого считаешь другом. Скролл вниз, вверх, снова вниз. Телефон тёплый и полный: здесь сообщения, лайки, сторис, переписки, в которых «всё» и «ага» и «))». Это самый населённый список в твоей жизни — и это самый пустой список в твоей жизни. Ты закрыл телефон, не позвонив никому, — и это решение принять было легко, потому что звонить в три ночи некому. Не «не хочется» — некому. Список из трёхсот двадцати имён не содержит ни одного имени, для которого существует время суток «три ночи».

Две дружбы

Дружба — слово, под которым сегодня спрятаны два разных устройства. Первое — дружба по доступности: сети, чаты, подписки, «друзья» в интерфейсе. Она измеряется числом и держится на постоянстве сигнала: поставить лайк, ответить на сторис, поздравить днём рождения — регулярность заменяет близость, и для этого есть причины, они будут названы. Второе — дружба по присутствию: тот, кто при-

едет. Она измеряется не числом, а пределом: сколько часов ночи, сколько денег, сколько позора — и человек всё равно приедет. Эти две дружбы не соперники и не стадии одной вещи — они разные объекты, у которых исторически оказалось одно имя, и весь конфликт главы живёт в этом хищном слиянии названий: слово «друг» потратилось на третье-четвёртое по близости кольцо и больше не хватает до первого.

Почему время победило

Не потому, что люди стали хуже, — потому что время стало другим. Дружба по присутствию требует того единственного ресурса, который эпоха отняла первым: больших неоплачиваемых кусков времени — вечер без цели, суббота без плана, случайная поездка без сценария. Эти куски не погибли — их заняли секции, отпуска по расписанию и экраны: каждый час теперь занят, а занятый час нельзя отдать другу, потому что у него уже есть владелец.

Дружба по присутствию не выдерживает конкуренции с расписанием, потому что у неё нет расписания: она случается, когда случается, — а случаться она может только в пустоте. Пустота же из календаря исчезла первой. Вторая причина — миграция общения в письменное: переписка допускает паузу, пауза допускает отсрочку, отсрочка — несуществование. Голосовой звонок требует человека целиком; сообщение — достаточно версии человека, сокращённой, вычитанной, с возможностью подумать над ответом пять часов. Мы переучились дружить в редактируемом режиме — и в

нередактируемой близости, которая случается только лицом к лицу, растеряли практику.

Близость требует длинной версии человека — той, в которой есть противоречия, слабость, утаённое, невыверенное. Связность довольствуется короткой версией — выглаженной, отрецензированной, предъявляемой.

Пересчёт

Ты пересчитываешь свой список контактов и честно называешь цифры. Сколько человек приедут в три ночи помочь, если будет срочно, — ты знаешь: два. Сколько человек звонили тебе в три ночи за последние годы — ты тоже знаешь. Дружба сжалась не только вокруг тебя — она сжалась в тебе: ты тоже отвечаешь «держись», тоже переносишь встречи, тоже отвечаешь лайками. Никто не отнял у тебя близость — ты отдал её сам, по мелочи, в отдельный день, по разумной причине.

Триста двадцать имён, которые реально достижимы: шире, чем в любом деревенском племени, чем в любом военном подразделении. Ни одно поколение не имело столько «друзей» — и это не насмешка.

Достижение: связность. Ты знаком с большим числом людей, чем любое поколение до тебя: триста двадцать имён, реально достижимых, — это широта, которой не было ни в деревне, ни в казарме. Часть этих связей живая, полезная, тёплая; твой список — не пустышка, он работает: поздравит, подскажет, одолжит, найдёт. Это настоящая сеть — и она бы-

ла невозможна у всех, кто жил раньше.

Цена: время на близость кончилось — его заняла связность. Связность обслуживается регулярно и по расписанию (лайк, сторис, «как дела»), близость обслуживается нерегулярно и в разговоре. Расписание выиграло. Три часа ночи — час, в котором связность бессильна, — превратился в инструмент измерения: в этот час у тебя либо есть люди, либо есть список.

Рефрен: друг в переписке. Его произносит друг, который не поехал. Слово тёплое и искреннее — в нём есть боль, и потому оно не ложно по звуку. Оно ложно по конструкции: это сигнал о присутствии, подменяющий присутствие. Произнесённое в три часа ночи, оно заканчивается с гудком — и ночная тишина остаётся той же.

Безупречный поступок: держись. Изнутри он выглядит разумно и гуманно: ты не бросаешь человека — ты пишешь ему, ты с ним, ты рядом, насколько это возможно. И в этом «насколько возможно» — вся правда эпохи. Стоит ноль усилий в моменте: одна строка, одна минута, и совесть успокоена. Это не равнодушие — невозможность: расписания, семья, расстояние, страх показаться странным в три часа ночи. «Держись» — искренне, тепло, с болью. Оно почти равняется приезду по вкладу душевных сил — и не равняется ни по чему другому. Цена накопительная и лежит на том, кому писали: каждая «держись» вместо приезда отодвигает этот приезд ещё на неделю, ещё на год — и однажды список

из трёхсот двадцати имён закрывается сам, потому что спрашивать стало нечего и не с кого.

Тишина

Три часа ночи. Телефон лежит на подушке — потухший, тёплый, полный имён. За окном молчит двор, гудит розетка, тикают в коридоре часы, которых ты не замечал днём. Ты помнишь, что список полный: там триста двадцать человек, лайки, сторис, «)». Ты помнишь, что список пустой: там нет ни одного имени, для которого существует этот час. Курсор мигает в поле сообщения — туда, где напечатано два слова и не отправлено ничего. Ты кладёшь телефон экраном вниз, чтобы он не светил. И в тишине, из которой никто не приедет, и никто не напишет, звучит то, что ты сам написал каждому в этот день: Держись. Всё в порядке.

Глава 7. Родительство под прицелом

Был детский день рождения. Хронология праздника вывернулась наизнанку: сначала пришёл фотограф — за час до гостей. Его наняли не запечатлеть праздник, а произвести его: реквизит, детали, заранее отрепетированные позы. Пришли гости. Ребёнок выдувал свечи — по команде «ещё раз, не получится с первого раза»: он уже умеет дуть на свечи «на камеру», жест отрепетирован, как поклон. Гости ели торт с интересом к сервировке; родители моментально проверяли кадры, отбирали, ретушировали. Вечером фото уйдёт в ленту — и вся эта возня окажется не праздником с памятью, а памятью с праздником внутри: событие было сырьём для отчёта. Ребёнок, который в разгар игры спросил «а можно уже играть?», был вежливо отложен — праздничная программа несовместима с игрой, у игры нет визуального выхода.

Витрина из детей

Родительство в викторианской семье было функцией: хозяйство, наследство, рабочие руки. Сегодня — проект идентичности высшего порядка: по детям считывают родителей — чем кормят, в какую секцию отдают, как говорят, как едут в отпуск. Ребёнок — единственная сфера, где удача видна снаружи и подлежит показу: карьеру, счёт в банке, брак показывать считается неприличным; детей — не считается. Отсюда, похоже, и выросла витрина: мир, потерявший витрину

для всего прочего, отстроил её из детей. Ребёнок первым в жизни получает аудиторию — и первым узнаёт, что его достижения существуют для их показа. Ты стал витриной для самого себя — и собрал её из собственного ребёнка.

Самая безопасная среда и самый информированный страх

Данные ясны и чисты: детская смертность, травматизм, заболеваемость — всё упало на порядок за два поколения; дети исторически никогда не были в такой безопасности. Но мир страха — мир, в котором живёшь ты, — изменился в обратную сторону: никогда ни один человек не видел столько сообщений о том, как плохо заканчивается чужое родительство. Новостная лента принесла в каждый дом статистику из всех миров сразу: редкая трагедия из любой точки планеты теперь проигрывается у тебя в голове как вероятная. Отсюда измеренный парадокс: чем безопаснее объективно — тем тревожнее субъективно. Дети живут в самой безопасной среде в истории человечества; родители — в самой информированной о каждом её провале. Тревожность стала не сбоем, а нормой: родитель, который не тревожится, подозрителен.

Гиперопека как договор

Гиперопека в этой главе — не злоупотребление, а рациональная реакция на только что описанную тревожность. Кружок вместо двора — это страх, у которого есть план: там есть покрытие, тренер, страховка и расписание. У двора не было ни одного из четырёх — и в этом состоял его смысл. Двор держался на том, что за ним никто не присматривает: прави-

ла выводили сами дети, ссоры разбирали сами дети, шишки набивались бесплатно и без отчёта. Кружок всё это заменил профессионально: порядок теперь назначен, травму предупредили, расписание внесено в календарь родителя. Ничего не потеряли — кроме того, что не входило в программу.

Поэтому не стоит представлять гиперопеку капризом или наследственной глупостью. Родитель, который сегодня отпускает ребёнка гулять безнадзорно, действует не только вопреки своей тревоге — вопреки социальной норме. Соседи заметят. Свекровь заметит. Если ребёнок где-то запнётся — заметит и правовое поле, для которого гуляющий без присмотра восьмилетка уже событие, требующее объяснений. Отпустить — это решение, за которое родитель платит не только реальным риском, но и репутационным: его будут обсуждать не как свободного человека, а как халатного. Кружок, телефон, сопровождение — это не выбор между хорошим и плохим, это общественный договор, подписанный за родителей ещё до их родительства. И вот здесь замыкается зеркало, которое начиналось в первой главе. Общество, которое строже всего судило странного человека с самоваром — за то, что он вышел из ряда, — теперь судит странного родителя, который отпустил ребёнка, — за то, что он вышел из ряда. Странным стало не держаться особняком. Странным стало отпустить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.